

Суфьян Бё
Залив Большой Медведицы



Суфьян Бё

Залив Большой Медведицы

«Издательские решения»

Бё С.

Залив Большой Медведицы / С. Бё — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-604406-7

У далеких северных берегов находится залив Большой медведицы. Место, ставшее домом для всех заблудившихся, забытых и потерянных. Место, ставшее отправной точкой для маленького большого путешествия в поисках собственной тени, из которой однажды получится увидеть свет.

ISBN 978-5-00-604406-7

© Бё С.

© Издательские решения

Содержание

1	6
2	10
3	20
4	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Залив Большой Медведицы

Суфьян Бё

© Суфьян Бё, 2023

ISBN 978-5-0060-4406-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

У Петера умер дедушка. Во вторник, осенью. Дворовый пес по кличке Жук, черный как смоль, беспокойно кружил по двору хутора, подвывая, припадал носом к земле, словно вынюхивая чьи-то чужие тени. И всё, вроде бы, было как всегда. В смысле обязательного солнца у кромки неба, укромной возни мышей за стеной и неперменного осеннего ветра, выдувающего вчерашние следы с холмов. Но, неотступное и навязчивое, зудело понимание, что отныне многое будет иначе.

У самого Петера были сложные взаимоотношения со смертью.

Он её не чувствовал. Потому и предпочитал страху – равнодушие. К тому же он, пусть смутно, но осознавал, что существуют вещи столь же неотвратимые, но куда как более страшные. Слепота, например, как у соседского мальчика Тьёрда. Или война – как причинение смерти многим... о войне и обо всем на свете рассказывал дедушка. В последнее время особенно часто. Рассказы случались сбивчивые, путанные, но, странным образом, оттого еще более живые.

Петер очень любил дедушку. Что не удивительно, ведь тот был единственным оставшимся взрослым, которого Петер действительно знал. Конечно же, есть еще учитель Хенрик, чем-то вечно недовольный и на что-то обязательно обиженный; пастор Храфн, с которым Петер предпочитал встречаться по возможности редко, желательно – только на исповеди; многочисленные соседи, проживающие собственные жизни и мечты на прилегающих улицах и подворьях. Так близко, и в то же время так далеко – не докричаться, – что даже сами помыслы о том, чтобы узнать кого-либо поближе казались пустой тратой времени.

Петер сидел у изголовья дедовой кровати, основательной, сработанной, что называется, на века, смотрел на неподвижное с желтоватой и тонкой кожей лицо покойного. И изо всех сил пытался заплакать. Слез не было. Как не было и дедушки. Было отсутствие. Чье-то чужое тело. Были частые взрослые; разные, скорые на эмоции лица. Пастор Храфн монотонно бубнил себе под нос. Тётушка Агата – мать Тьёрда – стояла рядом, крепко сжимая своей похожей на птичью лапку рукой плечо Петера, увещевая его не держать боль в себе, дать ей выход в слезах. Оплакать деда.

Петер же просто молчал и слушал, слушал. Слушал, как старый Жук, не находя себе места, мечется по двору, вторит завыванию ветра; слушал, как скорее по привычке бранится с лошадьёю сосед – старый Йохан; как скрипят едва слышимые в общем потоке повседневного шума доски сгружаемого с катафалка гроба.

Незаметные, сплетались кружева времени, спешили к скорым потокам реки, цеплялись, походя, за первые оборванные осенью с деревьев сада листья. Также и мысли Петера. Неслись вскачь, наседали друг на дружку, толкаясь локтями и переругиваясь... в конце концов, всё смешалось в памяти: выцветшие цвета, старые руки тётушки Агаты, жар собственных ладоней Петера, громоздкие звуки, все обязательные сочувственные фразы. А после исчезло и это. Остался лишь ослепительный солнечный свет. И, отчего-то – предчувствие первого снега.

Петер любил раннюю зиму. Пепельный снежный наст, колючий и ломкий, скрывающий задремавшую до весны траву на холмах; свежесть воздуха, пахнувшего океаном. Петер любил саму влюбленность в зиму; ему нравилось, покончив с уроками и обязательной помощью по дому, без дела бродить по деревенским улицам, взбираться на холмы, по облакам наблюдать движение ветра – редкие минуты покоя. Ему нравились зимние ботинки, пальто нараспашку, колючие шарфы, безразмерные шапки. Конечно же, пальто у Петера не было. Да и шарфу цветов явно не доставало. И сочетания эти, по большей части, были не более чем выдумкой, навеянной воспоминанием вычитанной где-то истории о большом городе и городских детях.

Зато ветер и холмы с облаками были реальны, а в толкотне волн угадывались острова, необитаемые и грозные, куда ясными весенними днями Петер с дедушкой плавали на лодке.

Петер поёрзал, поудобнее устраиваясь на жестком табурете; резко закололо затекшую ногу – словно тысячи мельчайших иголок вошли в ступню.

Да, он научился не замечать бесконечной череды похожих друг на друга дней – гнетуще серых, застывших в нигде, – для себя сохраняя Событие. Как и сегодня. Оставалось только определиться с цветом.

Где-то за спиной, в глубине комнаты, едва слышно кашлянул Храфн; вновь заплакала тётушка Агата; затопотали грязные башмаки по доскам пола.

Значит, пора.

Всё началось с кошки. Петер нашел её у поленницы – маленький пушистый комочек, уютно посапывающий в надёжном укрытии свежих, всё ещё хранивших запах хвои чурок. Петер окрестил кошку Хельгой, отнёс в чулан, собственноручно приспособленный для нехитрых мальчишеских нужд, напоил молоком, вычесал колтуны шерсти. Приютил тепло в сердце и, счастливый, прожил очередную зиму. Тогда ещё была жива мама, а дедушка регулярно выходил на промысел.

Петер никогда не видел своего отца. Что придавало известную свободу в трактовке его истории. В семь Петер решил сохранить для себя две её версии.

Согласно первой, отца у него просто никогда и не было. Чему с самого начала противоречило существование деда – папиного папы; и что неминуемо отрицало его самого.

Согласно второй, которую с известной долей отчаяния стремилась внушить ему мать при жизни, отец был путешественником. И все эти годы провёл в скитаниях вдали не только от родного очага, но и, возможно, что Земли вообще. Петер так и не смог заставить себя до конца поверить маминым сказкам. Однако чувствовалась в них и некоторая романтическая убежденность. В чём-то близкая детской вере в существование Рождественского Деда. Это была удобная версия. И для матери, и для сына. Это был их секретный мир, недоступный посторонним. История со множеством вариаций сюжета. Матери вместе с Петером почти удалось заполнить все белые пятна. Но время шло, и казавшаяся побежденной пустота подступалась снова. К тому роковому августу восьмого года жизни Петера, когда мать забрали в больницу, от истории остались названия звёзд и созвездий. Долгие же месяцы болезни пережила лишь Большая Медведица.

Но началось всё именно с кошки.

Хельгу загрыз Кнут. Это случилось ровно два месяца спустя после встречи у старой поленницы, и за три недели до дня рождения Петера. Хельга была неглупой кошкой. Только слегка невнимательной. Кнуту же тогда едва исполнился год; его даже ни разу еще не брали на охоту. Так и мотался он по двору, бестолковым своим лаем распугивая кур.

Всеми виною был пёсий задор и так и не изжитая вековая межвидовая вражда. Плюс – привычка Хельги спать в не самых подходящих для сна местах. Можно сказать, что смерть кошки была быстрой, но это послужило бы слабым утешением. Впрочем, и утешаться кроме Петера было некому.

Кнут был псом Петера; он прекрасно научился чувствовать хозяина. И самым звериным чутьем своим неминуемо уловил непоправимость произошедшего.

Той же ночью Кнут сбежал с хутора. Чем несказанно удивил и мать, и деда. Ведь ни о случившемся, ни о самом существовании Хельги кроме мальчика и его собаки никто и не подо-

зревал. Исчезновение Кнута так и осталось загадкой, а – не особо долгие – его поиски ни к чему не привели.

Покончив с бесплодными попытками, взрослые между собой решили, что пёс попутался с волками, потому и сбежал. По молодости, не иначе.

Петер не стал разубеждать их. Он не держал на Кнута зла, но и искать его на первых порах смысла не видел. Лишившись обоих питомцев зараз, Петер всё чаще стал подмечать за собой смутную тревогу, так и не разгаданное предчувствие напополам с неотвязным предвосхищением мерзкой обособленности, граничащей с одиночеством. Лишь много позже он понял, что сбежавший пёс унёс в пасти хорошую удачу их рода.

29 ноября Петеру исполнилось семь. В подарок на день рождения дедушка сладил ему настоящие лыжи. Теперь Петер мог без страха расширять географию своих зимних путешествий. Чем он и не преминул воспользоваться, как только для того представилась подходящая возможность.

Непривычно яркий после застоявшегося полумрака комнаты солнечный свет на мгновение ослепил Петера. Здесь, на пороге проходила граница между мирами. Именно здесь продолжались тени прошлого.

Мать Петера звали Солья. У неё были нежные руки и глаза цвета ясного утреннего неба. Петер ни у кого больше не видел таких волшебных глаз, как у матери. И, быть может, именно по этой причине всматривался он сейчас в бессловесный купол над головой, угадывая волшебство, уснувшее навеки.

А снега всё не было. Петер разглядывал осеннее небо: вот-вот, сейчас, соберутся тучи, дохнёт мертвенным холодом северный ветер, и снег засыплет всю округу – безучастность белого, в некотором роде, абсолютное отсутствие человека. Возвращение. Где-то на тропинках чуждой памяти затерялись слова этой реальности с множественными её шагами, которых не счесть. Всё остальное – только ветер и снег. И небо над ними. И возможные, едва заметные на фоне бездонной синевы точки ворон, продолжающих допустимое пространство жизни. Но – ничего кроме. Ни понурых, вытянувшихся в линию силуэтов, ни навязчивой звучности движений человеческого тела, ни этой дороги, ни кладбища.

Из больницы Солья не вернулась. Из последней своей поездки в город дед привёз её платье и гребень для волос. Шёл четвертый день декабря; день, в который каждый мыслил себя посторонним... и это чувство, в нагрузку к маминым гребню и платью простого покроя, было третьим и последним подарком к минувшему дню рождения Петера. Осень, обычно селившаяся между августом и декабрём, в том году убежала его памяти, прихватив с собой дни и ночи, школу, повседневные дела. Осталось лишь дружба с Тьёрдом, которой, как знать, не будь того августа, возможно, и не случилось бы. Петер во снах боролся с болезнью матери, а наяву захаживал в гости к тётушке Агате и читал Тьёрду дедовы книги.

Впрочем, нет. Осталась ещё маленькая безделушка, которую мать Петера отчаянно любила. Крохотное кольцо, мастерски выточенное из дерева. Солья подолгу всматривалась в его грани – так люди всматриваются в собственную память, тщетно пытаясь удержаться на её неверных волнах. Но никогда не носила сама. Она просила, чтобы Петер носил его. И Петер в меру собственных сил выполнял просьбу матери. Когда не забывал колечко то в комнате, то во дворе, где снимал или выкладывал его из кармана, чтобы не потерять и не сломать ненароком во время игр. Петер знал, что дедушка выточил это колечко. По просьбе матери. Как напоминание о событии, очень важном и столь же тайном. Тайном настолько, что Солья так и не рассказала о его происхождении Петеру.

И Петер хранил дедову поделку во внутреннем кармане, изредка проверяя, не исчезло ли оно окончательно.

Деда Петера звали Тригве. В молодости он учился в университете большого города, но, как иногда случается, не совладал со временем и, так и не доучившись, вернулся на хутор. Из студенческого прошлого вынеся неодолимую страсть к чтению и, возможно, столь же сильную любовь к бабушке Петера, Сидсел. Правда, Сидсел, в отличие от Тригве, ни учёбу, ни большой город бросать не собиралась. Зато с большим удовольствием, едва оправившись от родов, рассталась с хутором и всеми его обитателями. Так молодые стали чужими, не успев нажать ничего кроме горсти воспоминаний, которые Сидсел, не признавая дележа, оставила в полном объёме Тригве. С тех пор он взял за правило регулярно, раз в год навещать в столицу. Родным говорил, что ездит за книгами, но все прекрасно понимали истинную цель его визитов. Сидсел он так и не нашёл, зато собрал неплохую библиотеку. Многочисленными историями которой и делился теперь с Тьёрдом Петер.

У Тьёрда оказалась прекрасная память, он мгновенно запоминал баллады и висы, которые Петер вычитывал из огромного рукописного тома поэзии, и мог без запинки перечислить абсолютно всех персонажей саги о Сверрире уже после первого же прочтения, в то время как Петер регулярно сбивался, дополняя случающиеся провалы персонажами собственного сочинения. Поначалу частые совместные чтения предоставляли яркие идеи для новых сюжетов отцовской истории Петера, которыми он также щедро делился с Тьёрдом. Но оживить главное их действующее лицо было по силам лишь Солье. Без неё отец оставался всего лишь очередной безымянной тенью, персонажем реальным не больше, чем тот же Сверрир и многочисленная его свита, нафантазированная Петером. Оттого и сюжеты отмирали сами собою.

Тьёрд.

Тьёрд был единственным ребёнком в семье Храфна. Очень поздним ребёнком. Храфн с Агатой долго молили бога об этой милости; и даже когда открылась страшная правда о зрении Тьёрда, всё равно принимали его как чудо, как дар свыше. От жестоких насмешек деревенской детворы Тьёрда надёжно оберегал сан его отца. В точности, как и слепота уберегла его от друзей.

И всё же, больше всех несмелому предложению дружбы тяготившегося одиночеством зрячих Петера обрадовалась Агата. И уютная её благодарность обернулась всей возможной заботой о мальчике в месяцы болезни Сольи, и много позже – в период растянувшегося на три года угасания Тригве. Вот и сейчас она была рядом. Ступала по-старчески неуверенно, но не отставая ни на шаг. Дышала в спину, когда гроб опускали в ослабившееся бурым зевом нутро могилы.

Храфн бросил первые комья земли, отозвавшиеся в звенящей тишине глухим стуком о крышку гроба – так вполне могло биться чьё-то сердце – но и эти прощальные удары были беспощадно заглушены судорожным хрипом дыхания Агаты. Петер хотел, чтобы её здесь не было. Своим участием она покушалась на что-то в его душе, вторгалась на территории, которые не могли принадлежать никому другому, кроме Петера и его семьи. Он вдруг задохнулся от ненависти – вот ведь мерзкая старушка – но тотчас же следом нахлынуло чувство раскаяния и неизбежная усталость.

Осеннее солнце роняло позолоту в его протянутые, перемазанные глиной ладони, отзываясь привычным теплом в окоченевшем теле.

Люди потихоньку начинали расходиться.

2

Тьёрд хорошо рассказывал, будто молитву читал. Петер любил слушать звучание его голоса, и нередко сюжеты, прочитанные в книгах, обретали действительную жизнь лишь будучи произнесёнными Тьёрдом. Похожий дар был и у Солю... и, быть может, именно по этой – тайной – причине Петер и затеял собственные чтения. Чтобы отлучиться от пустоты и увидеть мир во всей его многомерности и чистоте – во фрагментах, сложениях, ритмах. И только Тьёрду, ни разу не видевшему окружающего мира собственными глазами, и Солье, постепенно терявшей ощущение действительности, было по силам воплотить идеальный мир в голосе, в говорении. Мама была далеко, очень далеко, но, казалось, сам дух её воплощается в речи Тьёрда. Он рассказывал, а Петер видел. Конечно, оставалась проблема пространств, недоступных слепому, не постигнутых его опытом, как это случилось с историей отца. Но с другой стороны, постепенно и сам Петер пришел к выводу, что чем меньше народу знает о совместных с Солей фантазиях, тем, пожалуй, лучше. И действительно, кому будет приятен слух о сумасшествии матери в последние годы её жизни... с Петера вполне хватало расплывшихся по всей деревне пересудов о его собственном отце – каких-то липких и особенно гнусных, самым фактом своего существования уже бросавших тень на каждого члена их семьи.

Соля, беременная Петером, появилась на хуторе Тригве незадолго до таяния снегов. Слух о том, что у старого Тригве в скором времени появится внук, мгновенно облетел считанные дворики и уголья. И первые толки не замедлили появиться. Ситуация осложнялась тем, что самого отца Петера никто не видел уже лет десять. Правда, изредка появлялись противоречивые истории, привозимые из большого города торговцами да рыбаками, позволившими себе кратковременное путешествие. Кто-то говорил, что он стал большим человеком и забыл о собственном домике, потому как стыдился Тригве – за его слабость, за то, что в своё время тот не смог удержать своего счастья. Кто-то – что он наоборот опустил на самое и дно и теперь едва ли не побирается на улицах, а возвратиться ему мешает обыкновенное самолюбие. Между этими полюсами возникали истории разного калибра: от разбойничьих страшилок с обязательной заключением под занавес, до поучительных сказок с неминуемым благим концом.

Вне зависимости от их исхода к Солье на первых порах все относились с одинаковым презрением: как к женщине позволившей себя обречь на невесту кому и растящей сына вне брака. Кое-кто и вовсе считал, что к семье Тригве ни Соля, ни тем более Петер не имеют никакого отношения. А отцовство не более чем выдумка, сложившаяся исключительно ради крова и дармовой еды, которыми добродушный и доверчивый Тригве сейчас с таким удовольствием обеспечивает обоих. Вполне естественно, что сочинители подобных слухов в предвкушении грандиозного скандала – ах, ими так бедны деревенские будни – с нетерпением ожидали, когда же, наконец, вскроется эта ложь. Но время шло, а на хуторе Тригве всё так и оставалось без изменений. Постепенно люди поуспокоились, переключившись на насущные дела и события. У Солю даже появились вроде как подруги. Однако единожды возникшая отчуждённость так и не исчезла до самого последнего дня её жизни. Даже Агата, по всей деревне известная за свой спокойный и добродушный нрав, по возможности избегала общества Солю. Чего уж говорить тогда о прочих?

Впрочем, от прочих и без того оставались лишь тени – сбившееся, комковатое некогда чистое время, истосковавшееся по большому городу, в малых масштабах локальной вселенной выраставшего до размеров целого макрокосма.

После похорон Петера надлежало определить в детский дом – таковы правила. Если, конечно же, не удастся найти взрослого, на которого можно было бы возложить обязанно-

сти опекуна. Но в любом случае прежде следовало вызвать из города специального человека. А на это нужно время. Как и на комиссию после. По самым скромным подсчётам на всё про всё требовалось месяца полтора. И единственное, о чём можно было говорить с полной уверенностью уже сейчас, так это о том, что Петеру предстоит поездка в большой город.

Но, так или иначе, всё это были дела пока что неблизкие, ... а на завтра после похорон предполагался понедельник. И обязательная школа, обыкновенных будней которой Петер оказался лишен.

Храфн и Агата пригласили Петера на свой хутор – до поры до времени. Храфн также взялся за заполнение всех необходимых бумаг. Благо, кроме него в деревне никто и не представлял, как именно всё это происходит.

Агата подумывала, было, оформить опекунство на себя, но по здравому размышлению отказалась от этой идеи. Большая часть её сбережений и времени уходила на Тьёрда, а Петер, считалось, находился в том возрасте, когда его воспитание легко и непоправимо можно было запустить, подпортив тем самым жизнь не только ему, но и окружающим. Посоветовавшись с мужем, Агата решила подобрать для Петера самый лучший детский дом. И, до достижения им двадцати лет, присматривать за хозяйством хутора Тригве, чьим наследником по праву становился Петер. Предполагалось, что по возвращении, застав всё имущество точно таким же, каким случилось его бросить на десять лет, он сможет начать здесь новую, счастливую жизнь. А полученное воспитание не позволит растерять накопленных не одним поколением предков благ.

Возвращаться в школу на месяц не имело смысла. Потому и с Петером, и с Тьёрдом учитель Хенрик занимался на дому, дважды в неделю, с трёх до семи. Остальное время было посвящено чтению и помощи по хозяйству – хуторок Храфна хоть и не был велик, но работы хватало каждому.

Много позже, в памяти возвращаясь к осенним дням, проведенным в кругу семьи пастора, Петер и сам поражался охватившему его тогда равнодушию – запутанное межсезонье сменилось степенным увяданием, и в оттенках осени всё чаще проявлялся багрянец; жухлая трава пускала свои космы вниз по склонам холмов, укрывая некогда очевидные тропинки. С океана, преодолев перевал, всё чаще навевалось ненастье. Сначала оно лишь ухало где-то высоко в горах, прислушивалось к собственному же эху, но скоро уже спустилось ниже и затеяло бесчинствовать в долине: колотило ставнями, выуживало паклю из щелей, с визгом носилось по подворьям, а то вдруг подкрадывалось к припозднившемуся путнику и обдавало его таким холодом, что аж кровь стыла в жилах.

Петер же просто отсчитывал дни, ничего из них не сохраняя – как навязчивую череду рассветов и закатов, и долгих блужданий в одиночестве меж ними. Ни одно из воспоминаний детства его не тревожило; оставшееся Сейчас глубоко укоренилось в сердце. И Петеру время от времени даже начинало казаться, что силы оно набирает за счёт стремящегося в бесцельную белизну года. Эдакий паразит, примеривший его личину, и сейчас ведущий постороннюю жизнь.

Зима в том году пришлась на среду. Погода не заладилась с самого утра, на горизонте собрались хмурые грозные тучи, так и не пролившиеся дождём, но принесшие негаданный снег. Тяжёлые хлопья засыпали деревню, облепили окна, не прибранные ставнями, плотным наростом, не пропускавшим ни единого пятнышка света. Снегопад случился без обыкновенных для тех мест репетиций, без привычных тонких настов на холмах, без куцых сугробов вдоль дороги. Всей своей хищной массой распластав приземистые домишки и практически парализовав возможную связь с городом. Деревенские сразу как-то сникли и посерели. Не слышно было ни повседневных окриков, ни детского смеха с многочисленных природных площадок для игр. Все заперлись по домам и сидели теперь, разобидевшиеся на целый свет за раннюю зиму, протапливая помещения к грядущей стуже.

Именно в эту ненастную среду в деревне объявился Бьярне. Вызванный из города письмом Храфна, преодолевший расстояние без малого в пару сотен километров, он приехал за Петером. Большой путешественник, на своих двоих отшагавший расстояние в сотню тысяч деревушек, Бьярне вполне мог согдиться как персонаж очередной порции рассказов и сплетен, попадись он на глаза хотя бы одному жителю.

Но, так и оставшись незамеченным, Бьярне прошел к дому Храфна, обменялся с пастором рукопожатием, скорым и крепким, глянул в глаза съезжившемуся у двери мальчонке.

Потом был долгий и обстоятельный разговор. И Храфн, и Агата решительно отметали многочисленные варианты, предлагаемые широким жестом коммивояжера, и выискивали, и визнавали. И едва не поссорились с Бьярне. И долго еще – сначала с улицы, потом из передней – доносились обрывки горячего их спора, перемежаемого шелестом и словами, словно сошедшими с рекламных проспектов первосортных пансионатов.

Петер же вернулся в дом и продолжил чтение – про себя – заключив осколки незавершенного разговора в абсолютное молчание. Тьёрд сидел рядом, глаза закрыты, напряженный, выпрямив спину и чутко вслушиваясь в привычную тьму, заполненную множеством чуждых предметов. Петер читал, не отрываясь, разменивал волнение на черты и линии букв. Одновременно, ему казалось, он мог проследить несуществующий взгляд Тьёрда – не до конца, не далее чем на два шага. Умышленно тем себя ограничивая; боясь того, что можно увидеть дальше.

Но здесь, в пределах книжного листа, в границах пары слепых шагов появлялась надежда на то, что он сможет справиться со всей этой путаницей дней.

Петер захлопнул книгу, взметнув облачко пыли в загромождённое тенями пространство перед собою.

– Тьёрд...

Потерянные, блестящие белками в полумраке комнаты, глаза метнулись к источнику звука.

– Тьёрд, у меня к тебе есть одна просьба. Когда меня увезут... спроси у Храфна, он знает адрес. Ты напиши мне. Обязательно напиши. Стихотворение или вису – выбери из памяти, мы ведь с тобою много их перевидали. Сам не сможешь – надиктуй матери. Она не откажет.

Лёгкий ответный кивок.

– Конечно же напишу, Петер. Мы...

– ... поиграем с тобой в прорицания. Там, где я встречу твоё письмо, случится конец абзаца. С тем, что начнётся после, с красной строки, я уже справлюсь сам.

– Какие-то странные вещи ты говоришь, Петер. Я не уверен, что понимаю...

– Это неважно. Главное, ты напиши. И, если удастся угадать слово, всё будет хорошо.

– Я обещаю...

И снова Петер не дал ему закончить – накотившее негаданно желание выговорить всё, что скопилось за прожитые дни, всеокрушающей своею силой бросилось на привычное безмолвие и, мгновение колебаний спустя, всё же пробило едва заметную брешь в реальный мир, оторванный от укромного убежища книг и историй, надиктованных друг другу.

– Дед говорил мне: читай и запоминай написанное. И записывай то, что придёт тебе в голову после. Разные мысли. И если тебе посчастливится найти нужное слово, это сможет помочь. Потому что в этом наше маленькое волшебство. В сложении. Сейчас мне так хочется этому верить...

– Ты ещё считаешь мне сегодня?

– Да. Ячитаю тебе из книжки, которую возьму с собой. Потом тебе будет читать Агата. Всё то, что останется с вами.

– Они говорили, что ты вернешься.

– Я не уверен, что это мне еще будет нужно. Десять лет – это как целая вечность.

– Отец всегда считал, что время – всего лишь время. Не больше. Десять раз по четыре сезона. Сначала – холода, но после – солнце. Так было и будет так...

Петер зажмурился и мотнул головой.

– Да, я помню его слова. Проповеди. Правильность. Если долго смотреть на снег, начинает казаться, что **он** навсегда.

Тьёрд протянул ладонь на свет, коснулся тёплого солнечного луча, тряхнул головой.

– А этот инспектор... какой он?

– Взрослый. И белобрысый. А нос у него, как вороний клюв.

Заулыбались оба; и, хотя Тьёрд не представлял себе как выглядят вороны, в лучшем случае вызывая из памяти картавое звучание их голосов, его улыбка была чуточку шире.

– Мунин.

– Может быть. Когда он здоровался, то так на меня зыркнул, что мне аж поплохело. Думал, прямо там и обделаюсь.

На окраине деревни находился пустырь. Небольшой, десять на десять метров. Почти идеальный квадрат, заброшенный и заросший бурьяном. Раньше, долгими летними вечерами дети гоняли на нем футбольный мяч или же устраивали грандиозные побоища и войны – кто в шутку, а кто и на полном серьезе. Постепенно растворяющийся в каменном крошеве взгорья травяной ковер, пожухлый и клочковатый, обладал странной притягательностью, противостоять которой мало кому было под силу. Но примерно с три года тому назад в деревню приехали хмурые, молчаливые рабочие, перекопали бурюю землю, залили траву асфальтом и устроили на месте древней площадки для детских ристалищ мало кому нужную автобусную остановку. Автобус исправно приходил раз в день, спозаранку; его вечно сонный и очевидно простуженный водитель Пер – примерно сорока лет, голова тщательно выбрита, что, впрочем, становилось очевидным лишь в те редкие мгновения, когда он в порыве неясной душевной неги стаскивал вдруг вязаную шапочку с помпоном и жмурился в сторону солнца или заманчиво поблескивавшей бутылками в витринах лавчонки – выскакивал из кабины, неся трусцой через раньше положенного срока постаревшую площадь, дальше – по кривой улочке в сторону местного «бара». Колотил что есть мочи в хлипкую дверку до тех пор, пока хозяин или его жена, что вероятнее, смилостивившись, наконец-то не отпирали и не одаривали страждущего внушительных размеров чашкой с дымящимся кофе.

Пер отсиживал в общем зале отпущенные только ему одному ведомым графиком двадцать минут и заученным способом возвращался обратно. Ко времени отправления автобуса в салоне обыкновенно обнаруживалась пара-тройка пришлых колобродов или какой задумчивый рыбак с насквозь пропахшей рыбой сумой на коленях. Досадливо морщась на собственный скверный улов, Пер невнятной скороговоркой объявлял номер и место назначения рейса, а в пору особенного подъема, случалось, даже вспоминал название следующей остановки, и трогался с места.

Так или иначе, но с момента асфальтирования, пустырь растерял все свое волшебство и привлекательность и чаще пустовал, вернувшись к первоначальному, наиболее привычному состоянию. И только Петер изредка, главным образом в дождь, выбирался сюда теперь – ему нравился запах мокрого асфальта. И неуловимая зеркальность, отражавшая мутные уличные фонари, будто бы самому камню вздумалось вдруг стать амальгамой. А иногда ему и вовсе чудилась река Дороги – буйная и непокорная, вытекающая из озерца-пустыря. И в борениях с неумолимым ее течением, с навязчивым предчувствием новых местностей, он совершенно выпадал из общего времени и домой возвращался обыкновенно затемно. Аккурат к чаепитию после ужина.

Именно по этой новорожденной реке – одному из многочисленных притоков Великой вседорожной реки – и предстояло Петеру с Бьярне на пару пуститься в первое свое большое путешествие.

Отбывали они с пустой автобусной остановки – единственные пассажиры полуночного рейса, – словно беглецы, скитальцы, словом, элементы неблагонадежные и до крайности деклассированные, под покровом ночи, поскольку и поезд тоже спешно покидал вокзальную площадь с первой же угасающей звездой, где-то там, в не столь отдаленном будущем, также все еще оторванном от рассвета. А до отправления предстояли долгие сборы, провода, редкие следы на дороге. И оглядки на последний поворот, отделявший деревню от внешнего мира. Поворот, остававшийся в то же время преградой куда как более серьезной, чем перевал или даже самой океан. Хотя бы потому, что и вода и горы были стихиями хоть и грозными, но привычными и в чем-то даже домашними. И самое главное – опознанными и определенными. А Последний Поворот в свою очередь столь глубоко уже укоренился в собственной сознательной обреченности, что и просто попытаться отыскать выход из сложенного мифологией деревни лабиринта Дороги без крайней на то необходимости никому из ее обитателей и в голову бы не пришло.

После: автобус катил неспешной поступью диковинного зверя, надуманного вдруг спроне, торя укромные тоннели сквозь сумеречную пелену, погрязшую в сплошной снежной мокреде. За минувший день погода, следуя обыкновению ранней зимы, успела уже измениться, вновь оглянувшись, чтобы всмотреться в черты собственной же осени, и растерять мимоходом дождевые капли, стынувшие на подлете к земле, но все еще по старой памяти, согреваемые легким ее дыханием. И остающиеся на стекле узорами, неуклюжими, оскользящими в снег по касательной, косыми штришками. Петер смотрел во все глаза, следил за складывающимися метаморфозами пейзажа, казавшегося до сегодняшнего утра таким привычным и в привычности своей длящимся бесконечно. Конечно же, прочитанные книги и многочисленные истории бывалых путешественников позволяли полагать изменчивость пространства во множестве его вариаций. Но то, что инаковость вознамерится вдруг проявиться уже в полушаге от заученного наизусть ландшафта, для Петера оказалось пусть и предсказуемым, но сюрпризом.

И даже на малые свидетельства прежнего своего отсутствия в каждом последующем изгибе дороги, он никак не мог наглядеться. Камни и кустарник у обочины; вмороженные в остов снега черты луж; снежные полозья, обглоданные шинами промчавшихся автомобилей и поныне берегущие оброненный ими рисунок пуще зеницы ока – все это приобретало значение и смысл личной драгоценности, сокровища для глаза, готового жадно впитывать детали мелочей и заполнять пустоту зримой статики оставленного дома.

Темнота за окном жила собственной жизнью, дышала и билась в особом ритме, свойственном каждому постороннему сердцу – запаздывая на мгновение, путая дыхание, силуэтами ускользя из пространства, доступного зрению. Детали, выхватываемые из небытия светом фар, оставленные по недосмотру, не иначе, следовать неспешности автобуса, судорожной ненасытности зрения, размытые движением, мельтешащие, с каждым новым повтором обретали все большую вещественность. Слагались в алфавит места. Звучали.

Часть дороги пролегла вдоль береговой линии. Это угадывалось по особым символам, опознаваемым иероглифам. И хотя самой воды было не разглядеть сквозь темень и мокрый снег с остатками дождя, ее незримое и неоспоримое присутствие, тем не менее, явно прочитывалось в нагромождении предметов. Петер следил случающиеся изменения, блеклые, но заметные с берега всполохи у горизонта – разноцветные блуждающие пятна, разбегающиеся от точки соприкосновения воды небесной с водой земной – и ему казалась Земля, с улицы вглядывающаяся в силуэты редких пассажиров, в ровные ряды потертых сидений, тусклые лампы, лица. Вселенная неслась навстречу, белоснежная, необъятная. Заключенная в снежный кокон.

Новый виток – и дорога вновь отступилась от океана, в ребячливой своей дерзости вознамерившись вскарабкаться по крутому склону предгорья. Петер откинулся на спинку сиденья и, прищурившись, принялся разглядывать лицо водителя, отражающееся в зеркале заднего вида. Странно, он всегда думал, что Пер единственный обитатель Большого города, решивший связать свою жизнь с рейсовым автобусом, валандающим заученным маршрутом между пригородом и деревней. И готов был поклясться, что в деревне вообще мало кто подозревал о самом факте существования еще одного, полуночного маршрута.

Пресытившись, наконец-то, вынужденным одиночеством побережий и отшибов, автобус вклинился в жиденький поток автострады – Петер, ослепленный иллюминацией фонарных столбов, там и тут понатыканных вдоль проезжей части, опешивший от распахнувшегося множества снующих автомобилей, вновь приткнулся к окну, буквально впившись взглядом в разрастающуюся неоновую опухоль предместий города. Дома-великаны – иные разросшиеся в пять-шесть этажей – обступили дорогу и теперь возвышались всей своей серой массой над тщедушным тельцем растерянного Петера, запертого в стальном, полинявшем от времени брюхе.

Бьярне просто сидел рядом и молча поглядывал на своего юного спутника – ему слишком хорошо было знакомо первоначальное очарование города – сколько раз уже он наблюдал этот нелепый юношеский блеск в глазах? – тут не долго и со счета сбиться. Столь же частым было, пожалуй что, лишь запоздалое горькое похмелье, неизменно следовавшее за кажущейся свободой, ради которой многие пускались в самостоятельное странное странствие – без пищи и крова. Безвозвратное путешествие в злую грезу распадающегося на составные части мира. Но в случае Петера было и некоторое отличие, распознать природу которого Бьярне, пока что, был не в силах. Впрочем, времени у них было с избытком, а потому и волноваться не стоило. Бьярне не опасался, что Петер надумает вдруг бежать – складывалась странная уверенность в послушании. До поры до времени. Кроме того, явная очарованность первыми признаками большого города компенсировалась чем-то большим и принципиально иным.

Автовокзал, положенный главной площади, оказался неряшлив и непригляден. Вымершее плато, загромаженное автобусами молодыми и старыми, покореженными временем и пахнущие свеженанесенной на хромированные бока краской. Редкие пассажиры сновали по заданным маршрутам; серые и помятые, они сами были чем-то похожи на автобусы, которые и доставили их к этой конечной точке, отделяющей город от проделанного пути. Дождавшись, когда водитель, наконец, откроет двери, Петер спрыгнул с нижней ступени. Потянул за ручку спортивной сумки, в которой и уместился весь его нехитрый скарб, и легонько качнувшись под ее весом, забросил на плечо. Рука тот час же заныла, но Петер лишь поморщился и поудобнее перехватил ладонью малые ручки.

– Петер, погоди.

Бьярне отсчитал водителю мятые купюры, и теперь копался в собственной сумке в затаившихся поисках шапки. Водворенная на макушку, шапка тут же ошетибилась мириадами цветастых лоскутков.

Бьярне завязал тесемки под подбородком, в точности как и Петер за мгновение до того спрыгнул на асфальт и широким своим шагом зашагал к приземистому домику у выхода с вокзала. Изюм всех сил стараясь не отстать, Петер затрусил следом; при том, он готов был поклясться, что Бьярне заметил явное несоответствие собственной скорости с его походкой, но даже и не подумал подождать. Лишь бросил походя:

– Проголодался? Здесь сносно кормят. Я угощаю.

– Спасибо, я сыт...

Что было ложью. В навалившейся негаданной спешке Петер не то что перекусить, но даже и просто задуматься о еде не успел. За что теперь и расплачивался резью в животе и прескверным настроением.

– Куда мы едем?

– О. Я давно уже жду этого вопроса, а ты все больше отмалчиваешься да смотришь самым настоящим букой. Будем общаться?

– Не раньше, чем вы ответите на мой вопрос.

Бьярне остановился на мгновение, оглянулся на Петера (скорее – единственным взглядом смерил того с ног до головы и обратно). Весело улыбнулся. После – школиво подмигнул.

– Не раньше, чем я набью себе брюхо. С самого утра маковой росинки во рту не было. А впрочем, мне начинает нравиться эта игра. Обязательно продолжим ее после завтрака, идет?

У Бьярне были старые руки. А глаза – зелёны той плотной зеленью, что вызывает в памяти листву позднего лета; хмурую, почти что чёрную от частых дождей.

Петер некогда вычитал в дедовых книгах, что ирландцы якобы верили в колдовскую силу, свойственную зеленоглазым и светловолосым. Подобных же взглядов были не чужды и особо мнительные особы, случающиеся по соседству с Бьярне. Его шальная весёлость вкупе с частыми пугающими видениями, оборачивавшимися рано или поздно тысячью историй, большую часть которых растаскивали на сказки и анекдоты, доверия также не внушали. Единственной причиной, по которой выходки Бьярне терпели в детском доме, заключалась в том, что он был прекрасным педагогом и тонким психологом. Но профессиональные эти качества не избавляли от косых взглядов и пересудов за спиной.

С недавнего времени Бьярне исполнял роль выездного инспектора. В его обязанности входило препровождение ничейных детей от места нахождения туда, где им будет оказан надлежащий уход и предоставлено достойное образование без родителей – в интернат. Тонко просчитанная дурковатость обыкновенно по достоинству оценивалась будущими подопечными Бьярне; вызывала, не смотря на зрелый возраст инспектора, доверие. Но Петер очевидно отличался от обыкновенных маленьких постояльцев Бьярне. От сквозившей ярым холодом отстранённости мальчика у Бьярне мурашило кожу. Но, одновременно с этим, настойчивые и непреклонные, нежданно скапливались истории и воспоминания из другой, совсем молодой еще жизни до интернатов, бумаг об опекунстве, наследственной мороки.

Поезд тронулся; заснеженный полустанок с одинокой фигурой зрителя истончался, ускользая к недостижимой отсюда линии горизонта. Петер во всех красках представил вдруг, как серые заплаты полей и морщины холмов на берегу собираются в барашистые, облачные стаи и скатываются к самым окраинам земного шара, увлекаемые сплошным потоком, шумным, гневливым, следующим единственно известной воле лунного цикла. Сгорбленные спины людей обрывались вдруг на многоточия; суетливыми муравьиными тропками пробирались к оврагам и водопадам, чтобы после оттуда соскользнуть за пределы земного края, достигнуть наконец-то заветного освобождения от плена ойкумены.

А молчание затягивалось; заострённый подбородок Бьярне покоился на сплетенных пальцах, скобка рта изгибалась язвительно, но зелёные глаза вместе с тем смотрели по отечески добро и участливо. Когда он заговорил, ничего в его голосе более не выдавало ту стальную непреклонность, что так напугала Петера на первой встрече на хуторе.

– Я люблю эту землю, пусть даже говорить об этом и глупо. Сплошь снега и камни... – Бьярне замолчал на мгновение.

– Когда я смотрю на снег, я всегда думаю о смерти.

Петер заглянул ему в глаза. Впервые с момента встречи – с удивлением и недоверием одновременно.

Для самого Петера снег всегда был чем-то изначально чистым. Быть может, большим забвением, чем что-либо иное. Заметив замешательство своего юного спутника, Бьярне улыбнулся. Снова. Открыто. По-детски.

– Нет-нет, мне кажется, ты не совсем верно меня понял. Я думаю не о смерти вообще, как таковой. Я думаю о смерти конкретного человека. И о том, что она дала мне. Мы с тобой в чём-

то похожи, знаешь? Я, также как и ты, не застал своего отца. Примерно с одиннадцати лет меня растил отчим. Конечно, наши с ним отношения были далеки от идеальных. И на первых порах мы вовсе не понимали друг друга. Но я уважал его. А он, в свою очередь, делал всё возможное для того, чтобы я стал частью новой жизни, а не заикливался на собственном прошлом. Это не было простой благодарностью... это была первая действительная отеческая забота о моей жизни. И исходила она от – фактически – чужого мне человека. Но, как оказалось, его старания были напрасны. Конечно, тенью собственного прошлого я не стал. Но и настоящего, к сожалению, признать так и не смог. Поэтому-то детство моё и отрочество прошли в каком-то странном полусне. Спроси меня сейчас о том или ином событии: случилось ли оно, нет ли – я, пожалуй, и не отвечу. Мой отчим умер, когда мне было далеко за двадцать. И это смерть принесла мне несравненно больше, нежели он сам сумел передать при жизни.

Бьярне вздохнул – глубоко, точно в чреве небесной кузницы зашевелились вдруг долго спавшие меха.

– Это странно. Ни мать, ни младший брат до сих пор не могут простить мне показавшегося им в тот день «равнодушия». В том есть и моя вина – отчасти. Я не спешил посвящать их в природу собственных переживаний. Как-никак, всё увиденное было не более чем грёзой. А грёзы на похоронах близкого навряд ли добавили бы радости кому бы то ни было.

Петер поддел носком ботинка заботливо составленную на пол в подножии сидений пустую бутылку. Та опрокинулась и покатила по вагону прочь.

– Зачем вы мне рассказываете об этом?

Бьярне медленно покачал головой.

– Не знаю. Представь, что мы просто узнаём друг друга... чуть поближе. Мне показалось, что для тебя это может быть важным. Восприятие прошлого, мысли о близких – мне говорили, что ты замкнут до крайности. И любишь читать. Второе прекрасно; первое не очень. Говорю этот тебе, основываясь на собственном опыте. И как твой наставник. Для меня смерть была освобождением. Ты же сейчас в том возрасте, когда подобное потрясение может загнать тебя в такую бездну, что на обратную дорогу и всей жизни не хватит.

Бьярне достал порядком измятую пачку, выбил сигарету, зажал в зубах. Но прикуривать не спешил.

– Мерзкая привычка. Терпеть не могу табачного дыма. Но со вкусом приходится мириться – успокаивает.

Поезд набрал скорость – пейзаж за окном преобразился: снежной равнине на смену пришел густой сосновый бор. Петер прислонился лбом к стеклу, закрыл глаза: кончики пальцев покалывало, будто бы в ладони сыпали пригоршень сосновых иголок. Мысленный пейзаж в точности повторял пейзаж за окном: блеклый солнечный свет с трудом продирался сквозь путаницу ветвей, занимающееся утро предвещало ясный день – своеобразное прощание с родной землёй.

– Петер, Агата сказала, что ты совсем не плакал на похоронах. Почему?

– Не чувствовал.

– Ты чего-то боялся? Может быть, собственной слабости?

– Я думал о снеге. Путался в мыслях. Но не боялся.

– Это хорошо. Бояться не стоит.

Бьярне протянул руку, очевидно раздумывая взъерошить нечесанные космы Петера – Петер застыл, наблюдая отражения: рука, разом вдруг сделавшись меньше, вернулась в карман пальто.

– Бояться не стоит, – Бьярне помолчал, как бы пробуя вновь произнесённые слова на вкус.

– Как не стоит и смиряться. С судьбой, с обстоятельствами. С самим собою. В жизни случается уйма разнообразных вещей. Но большая её часть всегда остаётся по ту сторону. Это как айсберг. Или неизвестный ландшафт. Если ты действительно хочешь увидеть их, тебе придется

во многом переламывать себя – слабости, сожаление, уныние – один из обязательных грехов. Желание поплакаться. В противном случае всё, что останется – сугробы и камни. И вереница дней за ними – сплошную снежной кашей. Да, каждое из этих остающихся мгновений неповторимо по-своему, но всё же... всё же этого слишком мало, понимаешь?

– Вы решили пойти работать в детский дом после смерти отчима?

– Нет. – Бьярне поёрзал, поправил шарф; Петер по-прежнему не отрывался от стекла.

– Это случилось намного позже. После того как я потерял... но тебе такие истории вряд ли будут интересны. Скажем просто: я потерял. И в этой потере была целиком и полностью моя вина... кстати, ты знаком с легендой о Заливе Большой Медведицы?... хотя, откуда тебе знать её?! Если не возражаешь, её я тебе расскажу. Не сейчас. На подъезде. А пока, извини, мне нужен перекур. Останешься здесь?

Петер не ответил. Бьярне повел плечом – чуть резковато, чем выдал накопившее лёгкое раздражение. Но потом лишь улыбнулся и, поднявшись, уже на ходу обронил: Я скоро.

«Останутся только сугробы и камни... сугробы и камни... сугробы и камни». Ландшафт обретал черты ледника, некогда виденного Петером на картинках в книжке по географии мира – буйная растительность сосняка вновь уступила редкой щетине неприхотливого кустарника, цепкими своими корнями вгрызавшегося в обломки скальной породы. Метущейся мысли оставалось вдоволь пространства меж камней. Но как ни пытался Петер разглядеть пейзажи, спрятанные по ту сторону породы, ему никак не удавалось проникнуть далее пары шагов. Как в вечер отъезда, когда слепой Тьёрд был вынужден топтаться по путанным тропкам мира без света, в одиночестве. Петер откинулся на спинку сидения, расстегнул сумку, рукой нашарил в мешанине белья и редких бумажных пакетов жесткий шершавый корешок книги. Зажмурился крепко-крепко, и попытался в памяти вызвать изборожденное морщинами лицо деда, пепельную его бороду, густую, жесткую; скрипучий голос. Перед глазами резвые заплясали круги; нечёткие пятна мешали краски, но в картину сложиться не спешили. Дед навсегда оставался в прошлом мирке, так и не сумевшем выбиться за калитку хутора; сквозь пятнистую сутолоку проступил отчетливый след, втоптаный в суглинок речного берега – дозволенная степень прошлого, подобно горсти земли в дальнее странствие, увозимой сейчас Петером с собою.

«Ты ещё считаешь мне сегодня? Да... давно это случилось... рассказывают, что на северном мысе жил человек»

Бьярне вернулся со случайной маленькой ложью – «Похоже, что погода испортится» – Петер знал, что это не так. Он уже чувствовал лёгкие укусы солнца на щеке. И, в ожидании долгого северного света, по-прежнему не открывая глаз, загадывал картины, которые остались Тьёрду с изнанки сделанных шагов; его лицо всплывало в памяти с поразительной чёткостью, словно немая насмешка над должной любовью к родному очагу. Впрочем, материнского в слепых чертах становилось всё больше – в глазах, устремлённых в пустоту явственно маячило лёгкое безумие. Рот беззвучно открывался, выдыхая облачка пара, тот час же складывавшегося во сны и видения. И, должно быть, сам Петер задремал, потому как последовавшие затем слова Бьярне сотрясли его мир до основания, в лоскуты изорвав лицо Тьёрда, оказавшееся вдруг бумажным. Петер смотрел на Бьярне и первое время никак не мог понять, о какой такой благодати он снова завёл речь.

А ещё Петеру казалась песня... только слова её не звучали, а как в недавнем сне, складывались в тела материального мира и приходили, и кивали головами в такт мелодии, слышимой лишь им и никому более. И тогда Петер подумал, что Бьярне сумасшедший. И даже капельку испугался, потому как дорога взметнулась вдруг к самим небесам и, дважды опоясав землю, так сильно стянула кольца, что полушария оказались соединены меж собою тоню-

сенькой прослойкой – в восьмёрку, в бесконечность на манер песочных часов. И Бьярне всё говорил и говорил. А железная дорога все сильнее стягивала свои кольца. Но Петеру было уже всё равно – он наконец-то заснул по настоящему. Без снов и реальностей. Вконец измотанный маленькими совершениями, привычно случавшимися помимо его воли, монотонной предсказуемостью распахнувшегося пейзажа, долгой дорогой, весом слов, казалось, облепивших тело.

Бьярне задержался в слякотном тепле утра: раннее солнце пригревало, его лучи в преломлении слегка запотевших стёкол соскальзывали, перемежаемые буквицей теней, со стен на пол, в грязные лужицы некогда следов. Бьярне сел на скамью, почесал кончик носа. В неспешности без сновидений он считывал прошлые сны Петера, поминутно заноса увиденной в ветхий блокнотик, извлечённый из верхнего кармана.

Когда работаешь со снами нужно держать ухо остро – даже самые продолжительные из них, казалось бы, растянувшиеся на часы, дни, а то и годы, извлечённые из привычной среды обитания, как правило, длятся не дольше нескольких секунд. Юркие и стремительные, они так и норовят выскользнуть за пределы зрения, вовсе затеряться во времени. И если зазеваешься хоть на миг, может произойти непоправимое.

Бьярне умело вчитывался в сны – дар, которым по праву можно гордиться. Но в случае Петера всё время оставалось что-то больше... что-то, существующее помимо видимого. Некоторая недосказанность – как ошибка зрения; слепое пятнышко, не позволявшее проникнуть дальше. Досадливо поморщившись, Бьярне поставил точку и захлопнул блокнот. После одними губами произнес: «не волнуйся, Петер, всё будет хорошо». У него оставались ещё две истории. И большая часть пути на то, чтобы их рассказать.

3

На северном мысе жил человек. Назовём его Йоунси. Он был смотрителем маяка и каждый день, утром и вечером, в любую погоду должен был взбираться по винтовой лестнице на самую вершину белокаменной башни, чтобы вести разнообразные хитрые записи и учёты, а кроме того – поддерживать огонь для заблудившихся кораблей. Чтобы дарить уверенность в том, что они непременно вернуться домой. Вопреки расстоянию и штормовому ветру, вопреки льдам и прибрежным скалам смогут отыскать свой путь по сиянию рукотворной звезды на вершине мыса. Детям маяк казался той самой башней из слоновой кости, о которой им втолковывал в своих проповедях приходской священник. Блестели в пряже морской пены отполированные ступени, как и маяк выложенные из белого камня, алел треугольник крыши, заметный с самых удёленных уголков городка. Маршрут Йоунси был неизменен: от порога три ступени, после – по тропинке через двор, к желтой калитке, полсотни шагов до обрыва и дальше по самому краю до белой лестницы, ведущей к двери маяка.

У Йоунси была молодая жена, стройная и голубоглазая. В городе никто не знал, откуда она родом. Оттого-то и чесали злые языки, что, мол, и не человек она вовсе, и Йоунси она приворожила, и с тех пор он с маяка-то своего и шагу ступить не смеет, ведь именно там и заключена душа его. Да что с них взять, с болтунов-то, кроме слов, бессмысленных и колючих? – люди качали головами, делились сплетнями, да вот мало кто им верил, кроме стариков да детей вовсе уж несмышлёных. В остальном, слова так и оставались словами.

Йоунси и вправду долгое время был затворником в собственном счастье. И единственными, с кем он водил хотя бы какое-то общение, были такие же, как и он сам, чудачки и фантазёры: булочник Стефан и местный изобретатель-недотёпа Снэколь. Страстная любовь к небу объединила их. Стефан в часы досуга выбирался на мыс и масляными красками рисовал облака на старой бумаге. Снэколь конструировал чудные механизмы для полётов. Правда, ему до сих пор так и не удалось поднять в воздух никого крупнее домашнего поросёнка в насмешку за малый вес свой прозванного Зубром. Но Снэколь божился, что вот-вот представит публике самый настоящий дирижабль.

Йоунси же, тот просто вглядывался в глубину небес так долго, что уже сами глаза его стали прозрачны настолько, что и при свете солнца в них можно было разглядеть обрывки сновидений.

Вместе они затеяли раз в неделю, по вторникам, спозаранку встречаться у маяка, в котором и проводили большую часть дня (и булочная в это время, естественно, была закрыта), и откуда возвращались уже под вечер, обыкновенно о чём-то споря и ожесточённо размахивая руками. Люди посмеивались: «Опять, небось, дирижабли изобретают». А Йоунси сотоварищи тем временем заходили в дом на мысе, где их уже дожидался тёплый ужин, тёмное пиво и многочасовые истории о чудесах разнообразных на сон грядущий. Иногда жена Йоунси пела – о далёких берегах и воздушных странствиях, о глуповатых королях и коварных волшебниках, о троллях, эльфах и об отважных витязях – пела песни своего народа. И голос её, свободный и лёгкий, парил над землёй, врачую души. И вот тогда уже город замолкал, словно в сон погружался, и люди жадно ловили каждую ноту, и на мгновение каждому казалось вдруг, что жизнь невозможна вне этих песен, вне этого голоса. Но время шло к ночи, и всё неизменно возвращалось на круги своя. Булочник и изобретатель покидали дом Йоунси, а утомлённый дневными делами город неспешно отходил ко сну.

К югу от мыса Йоунси находилась гора, окруженная лесом, непроходимым настолько, что и до сей поры ни один, даже самый умелый охотник, не мог углубиться в него более чем на сотню шагов. В былые времена о горе этой люди складывали легенды и песни, разнообразные, но одним всё же схожие: мол, живёт на вершине испокон веку старая колдунья, коварная

и жестокая. Снедаемая ненавистью ко всему живому, плетёт свои чёрные чары, желая извести род людской. Да только ничегошеньки у неё не получается, потому как в момент крайней нужды появляется герой, которому удаётся ценой собственной жизни разрушить очередной её замысел и подарить жителям деревни краткое время мира и покоя. Но время шло, колдунья не спешила объявляться снова, песни и легенды постепенно стирались из памяти... так продолжалось до тех пор, пока от всей истории не осталось только название горы – Урархорн – за форму её, напоминающую рог, да также позабытую легенду о несметных богатствах колдуньи.

Много было вымысла в придумках прошлых лет, многое было напутано, многое приврано. Но была и собственная правда. Ведь колдунья действительно существовала. И жила она фантазиями и снами, мечтами и страхами – тем доверяем, что обыкновенно оказывали люди собственным сказкам. Но, то ли время тому виной, то ли усталость людская, постепенно сказки, точь-в-точь живые существа, начали стареть и умирать. И все реже и реже детские сны возносились над миром; словно иссушенные реки, мельчали песни; от крыльев фантазии оставались лишь редкие перья, самые простые и бесхитростные. Без сказок и песен, без снов и мечтаний, стала колдунья чахнуть. И вот, предчувствуя свой смертный час, она решила вновь спуститься в мир смертных, чтобы найти в нём человека, который смог бы достать для неё с небес свет звезды Алькор; свет, некогда породивший её к жизни, но путь к которому был для неё закрыт.

Смотритель рукотворных звёзд, Йоунси-с-маяка, как никто другой подходил для этой роли.

Выбрав время, когда Йоунси отправился на вечерний обход своих звёзд и владений, колдунья, обернувшись ветром, влетела в дом на мысе и, схватив его жену, унеслась прочь, на вершину Урархорна. После себя оставив голос, который и застал смотритель маяка по возвращении домой. Этот голос ему поведал о наказе колдуньи, о дальнем странствии, что предстоял, вглубь столь полюбившихся Йоунси небес. Об отведенном времени и о двух жизнях, что он может потерять – жены и ребёнка, которому ещё только предстояло родиться; по семь лет на каждого, всего – четырнадцать. И ещё три – про запас – ровно настолько Йоунси предстояло пережить свою семью в случае неудачи.

Напуганный, Йоунси заметался по комнате, не понимая, не осознавая до конца, что именно он может сделать, куда пойти, с чего начать. Как поверить в то, что было услышано только что. Совершенно обессиленный он заснул лишь под утро, и именно из сна, не исключено, что не без воли колдуньи, в нём родилась надежда. Недотёпа Снэколь с его дирижаблем. Конечно же, вот и выход – если ведьмы существуют, то почему бы и дирижаблям не летать к звёздам?

Впервые за долгие месяцы Йоунси спустился в город – километр под гору тропинкой, мощенной старым шербатым камнем. Он нёсся на своём велосипеде, и полы его плаща серыми перьями трепетали за спиной. И погода, путаным мыслям под стать, моросила мелким дождём, по-осеннему колючим. И чужой голос, мерзкий, скрипучий, бухал в мозг, вторя частому биению сердца.

Дети первыми разнесли по городу весть о том, что чудак Йоунси вернулся. Но даже в их проказливых голосах отсутствовала привычная насмешка – Йоунси, бледный словно сама смерть, ни на кого не глядя, нёсся по улицам. И только ветер, спешивший за ним следом, грохотал пустыми бутылками да шелестел мятой газетной бумагой.

– Снэколь! Снэколь! – изобретатель жил в хлипкой хибаре с башенкой на городской площади, неподалёку от библиотеки.

– Снэколь! – и люди отводили взгляд, расступались. Йоунси влетел по ступеням и что есть силы забарабанил в двери; моргнув подслеповато в дверной глазок, Снэколь отворил. Запахнул халат. Поправил очки. «Бог мой, Йоунси, на кого ты похож? Ты точно призрака увидел...», не дав договорить, Йоунси спешно затолкал его в дом и, преступив порог, суетливо загре-

мел замком, путаясь в ключах и шеколдах. Снэколь топтался по ковру, возмущенно раздувая щеки – еще ни разу не видел он своего друга в столь странном, можно сказать, деструктивном возбуждении.

– Могу ли я, друг мой, законно находясь в собственном доме попросить тебя объяснить, что, чёрт возьми, происходит?

И Йоунси объяснил. Как мог. Снэколь не поверил... одно дело, сказал он, вместе мечтать о небе. И совсем другое – доверяться побасенкам о неведомых колдуньях и полётах к звёздам. И тогда Йоунси сел и заплакал.

В скором времени весть о пропаже супруги Йоунси облетела весь город. И вновь пошли чесать языками злопыхатели и бездельники; да только версии исчезновения были далеко не такими «сказочными», как до её исчезновения. Начиналось всё вполне безобидно: замутил, поди, Йоунси жену своими странностями, вот и сбежала она, собрав вещички к своим родителям. А то еще, чего доброго, и молодца себе какого в спутники-то нашла. И смеялись, и смеялись – а Йоунси бродил мрачнее тучи, враз сделавшись и вовсе одиноким. И не у кого ему было искать помощи. Люди всё чаще стали его замечать полуночничаящим у обрыва. И, многие готовы были поклясться, вроде как он с кем-то всё время спорил. С кем-то, кого никто не мог ни увидеть, ни услышать. Тогда-то уже и горожане заподозрили неладное, а Снэколь, решивший поначалу, что друг его вовсе из ума выжил, призадумался.

Миновал месяц. Дни сделались холоднее, погода – ненастнее. Как-то раз заявился Йоунси к Стефану, и попросил у того денег в долг. На перестройку дома. От природы добрый Стефан тот час же без раздумий ссудил Йоунси необходимую сумму (благо, деньгами его судьба не обделила), с тайной надеждой, что наметившееся строительство поможет другу позабыть сбежавшую жену и непрекращающийся трёп по всем околицам.

А Йоунси задумал последнее доброе дело. Потерявший любимых, вознамерился он возвести у маяка на мысе дом для всех потерянных, теща себя надеждой, что, пока он будет в пути, случится чудо и близкие его вернуться к родному очагу. Где будет, у кого попросить приюта, и, может статься, именно там им суждено встретиться снова.

Но время летит так быстро, быть может, слишком быстро. И Йоунси прекрасно понимал, что строительство затянется не на год и не на два. Тогда он нанял специальных людей, и попросил Стефана о последнем одолжении, в котором тот, скрепя сердце, также не смог отказать.

К январю, точно под новый год, Снэколь закончил-таки свой дирижабль. Во взъерившуюся новогоднюю ночь, когда в натопленных комнатах подавали праздничный ужин, к обрыву вышли трое. Один собирался в путешествие, из которого и не надеялся вернуться живым; двое других, вели под узды упирающихся лошадей, впряженных в телегу, всю буквально укутанную серой материей.

В ту ночь Йоунси исчез.

Тогда-то и родился самый страшный слух. О том, как чудак-с-маяка убил свою жену и нерожденного ребенка, а сам, под покровом ночи, скрылся в чащобе леса у подножия Урархорна. Засуетились власти, собрались люди, отрядили силы на поиски, но ни останков, ни следа Йоунси им найти так и не удалось. Тогда было решено отрядить всю возможную технику и выкорчевать проклятый лес до последнего деревца – уж слишком долго мозолил он глаза честному человеку. Вот, уже и с ума некоторые сходить начали, семью свою резать.

Стефан и Снэколь, единственные, кому была известна правда о ночном исчезновении Йоунси, и единственные, кто, с горем пополам, все же решили ему поверить, предпочитали помалкивать на этот счёт. Они достроили дом для потерянных детей и передали его городу. Дом с прилегающей к нему прибрежной территорией называли Залив Большой Медведицы.

Постепенно город вернулся к привычному ритму жизни. Утихли сплетни. Лес все же решено было оставить в покое – больно накладное это дело оказывается, столько деревьев без толку изводить.

Стефан вновь занялся своими булками. Снеколь – маленькими чудачествами; на большие он, похоже что, решил махнуть рукой. Никто из них с той поры и шагу не ступил на ступени, ведущие к маяку. Забросили они также и свои разглагольствования о небе. Только изредка зыркали воровато, что никому больше никакого вреда не принесло, так что пусть с ними...

Через два года после исчезновения детский дом принял первых своих посетителей...

Поговаривают, что Йоунси всё же не исчез бесследно. Что он всё-таки вернулся семь лет спустя – осунувшийся и сильно постаревший. Лишь для того, чтобы исчезнуть снова. На сей раз окончательно.

Удалось ли ему отыскать путь к Большой Медведице – не известно.

Также говорят, что в одной из многочисленных пещер, находящихся за старым северным мысом, спрятан потрёпанный, но всё еще готовый к последнему своему полёту дирижабль. Что он ждет того, кто осмелится доставить колдунье с Урархорна свет звезды Алькор. Да только, всего скорее, выдумки всё это. Как и вся история про маяки и волшебниц.

Болтовня спившегося вконец Снеколя. А что было на самом деле: склочник Йоунси, порезавший семью, бездельник булочник, старые песни да обыкновенная застольная беседа, в которой и выболтал Снеколь свою «страшную-престрашную тайну».

4

Жила была девочка по имени Лу. Её подругу звали Майя. Дружили они – не разлей вода – с самого своего рождения.

Майя была внучкой не то баронессы, не то герцогини, непременно в бегах, но это оставалось большой тайной, в которую посвящали лишь персон особо приближенных. Лу о своих родителях знала лишь то, что им некогда случилось проезжать мимо незаметного залива, укромно примостившегося между невысоких скал, поросших бурым мхом, где и пришлось ей сразу после рождения задержаться на десять лет. Так рассказывала Лу. Так полагала Майя.

Лу жила в детском доме, Майя – в старинном золотом медальоне ручной работы. Кроме Лу о существовании Майи мало кто подозревал, видеть же её и подавно могла только сама Лу.

Лу была смышленной девочкой – рыжей и конопатой. Рыжие волосы обыкновенно заплетались в две косы; веснушки-конопушки прятались в ямочках на щеках улыбочивого лица. До поры, до времени.

Еще были вечно сбитые коленки, вызывающе торчащие из-под линялой юбки, свитер толстой пряжи – с лицом бабки-гадалки на груди ("...она присматривает за Майей...") и сбитые боты с разноцветными шнурками и приспущенными шерстяными носками под ними. Даже такую бедную коллекцию тряпок Лу мгновенно ввергала в абсолютный хаос и жесточайшим образом расправлялась с каждым, кто имел неосторожность покуситься на её обжитые территории...

Майя была избалованной и капризной, совершеннейшая неженка. Внешностью она скорее напоминала принцессу из сказок. Только – в миниатюре. Те же очаровательные белокурые волосы и голубые глаза, овал лица и носик, курносый лишь самую малость. Майя отдавала предпочтение платьицам – шерстяным об зимнюю пору, – вязаным шапочкам и цветастым колготам. Наряд её менялся едва ли ни каждый день. И для Лу так и осталось загадкой, где Майя прятала весь свой внушительных размеров гардероб. Хотя она так ни разу и не удосужилась спросить подругу об этом – обеих вполне устраивали мимолётные игры в переодевания; в «принцессу и нищую», и тогда уже Лу становилась внучкой не то баронессы, не то герцогини, а Майя – сиротой безродной. Но, как ни старалась Лу, переселиться из детского дома в медальон у неё так и не получилось. Она так и осталась очередным медвежонком в череде подобных.

Залив Большой медведицы – со временем от историй оставался лишь прогорклый пепел, чехарда бесполезных огрызков сюжета, связать которые между собою было практически невозможно. Да и какое, в конце концов, дело до всех этих дирижаблей могло быть юным обитателям «сравнительно нового учреждения» строгого режима? Да, оставались в памяти имена, да, сохранялась общая тайна; именно утрата семейства многим роднила Йоунси с детворой Залива – сиротство по-случаю. Но оно же более чем очевидно говорило в пользу явной надуманности случая. Кстати, и Леса-то уже лет эдак ...дцать как не было. Всё, что осталось от истории Йоунси – это от силы пара пеньков и название мыса. И маяк, безусловно – заброшенной руиной на отшибе; на месте непроходимой чащи была запланирована шоссейная дорога, должная связать столицу с северными фьордами, по чьим прибрежным скалам с незапамятных времен ютились рыболовецкие деревушки.

Вредные привычки и маленькие тайны с неизменным успехом замещали собою большие дела. Тем более, что дела эти так и не вышли за пределы сказки. В остальном – предсказуемо изменялась природа; и близлежащие к мысу ледники с явной неохотой, но обнажали залысины. В образующихся прорехах поблескивал стальными оттенками океан.

Зимы становились лютее, и неженка Майя все чаще отсиживалась в медальоне, по обыкновению ссылаясь на легкое недомогание/нелепую простуду/неизбывную хандру «всеми поки-

нутого человека». Лу молча сносила её капризы и коротала дни, разглядывая новую воду и перебирая в памяти прошлые проказы и замыслы.

Бьярне нашел их обеих на вокзале два лета тому назад – пригревшись в кипе старого засаленного тряпья, Лу отсыпалась в вагоне на запасных путях. Каприза Майя охраняла чуткий сон девочки. Но и её внимание было уже притуплено долгими часами без сна. Бьярне появился со стороны платформы. Светловолосый великан в долгополом плаще, он по обыкновению улыбался чему-то в бороду и болтал без умолку. Когда Лу раскрыла, наконец-то, свои глаза, с ужасом осознавая, что впервые в жизни проспала приближение чужого, а Майя уже юркнула в медальон (лишь испуганно поблескивала пара глаз), Бьярне уже стоял в дверях вагона, одной рукой держась за поручень, другую же запустив в карман, тщась нащупать затерявшуюся в мелком карманном соре пачку сигарет.

– Представляешь, вечно я их теряю... домовой шкодит, не иначе. Меняет карманы местами.

Бьярне выудил изрядно помятую сигарету и заложил её за ухо.

– Пospорим, я про неё забуду уже через пять минут?

Лу вжалась в стенку вагона и теперь судорожно обшаривала взглядом оставшиеся плоскости в поисках путей к отступлению. Скверная ситуация, из разряда тех, в которых никак не можешь придумать, что тебе делать.

– Ну и кто у нас тут спрятался? Как тебя зовут, девочка?

Лу показалось, что Бьярне смотрит на медальон и только – она лишь крепче сжала его в ладошке – но, одновременно с тем, и на притаившуюся Майю, и сквозь неё, напрямик в душу самой Лу. Его пальцы не находили покоя, и теперь теребили пуговицу на лацкане, но губы улыбались, а в глазах плескалось тепло полудня ранней осени. Майя не разговаривала с посторонними. Лу, иначе, была бойкой девочкой и могла заболтать кого угодно, будь то на рынке или в грязном переулке. Это не раз выручало её из неприятных ситуаций. Сейчас же язык Лу будто бы прилип к гортани и слова застыли и сморщились, пристыженные забились в закутки памяти.

Но тепло в глазах Бьярне было домашним, добрым и совершенно безопасным. И понимая, что молчать и дальше было бы уже попросту неприлично, Лу пролепетала:

– Она не разговаривает с чужими.

– Неужели?

– Я могу... поговорить за неё...

– Хорошо. Тогда давай поговорим с тобой. Ты ведь Лу, правда же?

Лу, даже не удивившись как следует, молча кивнула.

– Ну а я Бьярне. Будем знакомы.

Бьярне протянул руку – ладошка Лу почти что утонула в его широкой, тёплой ладони. Бьярне кивнул.

– Хорошо. Ну а как же зовут нашу нелюдимую особу?

– Её зовут Майя. И она не особа. Она настоящая леди...

– Но я вижу сейчас только одну маленькую и чумазую девочку... И кто же из вас кого придумал в таком случае? Малышка Лу – Майю. Или принцесса Майя – Лу?

– Майя придумала меня. Одной ей было плохо. И грустно. А потом я придумала её, чтобы спрятать от плохих людей. Поэтому вы её сейчас не увидите. И никогда не сможете найти.

– Потому что я плохой?

– Нет. Потому что я... она не захочет этого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.